

История всякого сумасшествия - это история всякого воздержания. И начинается она задолго до того, как родился человек, как понесли его в пеленках крестить или кормить. Эта история начинается в те времена, когда о нем не было и намека. Зарождается некая возможность, как зарождается славный сад. И однажды сад исчезает, его место занимает здание, красный кирпич которого такой красный, что в солнечный день мниться, будто он напитан кровью. На месте сада остается одно дерево, которое принуждено расти, ограниченное фундаментом и бетонным коробом вокруг. Листья его мельчают, ветки искривляются, плоды не вызревают. Дерево живет жизнью уроды, оно забывает своих родных, забывает сад. Так существует, пока, наконец, добросердечная буря не вырвет его, прекратив мучения. Его сожгут с прочим мусором. И слава богу.

У всякой истории есть начало. Наше похоронено на Иерусалимской кладбищенской горе, теперь пустынной. Лишь редкие плиты веселит заблудившийся луч. Трава скошена под корень, хотя она здесь единственная

прекрасна. Но о красоте никто не заботиться, лишь о пользе. Польза превратилась во всеобщий кошмар. Ее производят, покупают и продают. Ее едят, с ней занимаются любовью, ее рожают. Могилы убраны. Они убраны не сейчас.

Могилы убраны давно. Мертвецы покинули гору, но нынешним живым так не кажется. Они думают, что купец Ландышев встает и бродит вместе с остальными. Он встает и мимо строгой Выходо-Иерусалимской церкви, где его отпевали, спускается с горы по бетонной советского производства лестнице, раскатившейся теперь в пыль. Туманная фигура плывет среди почернелого дерева (прошел дождь) к большой торговой улице. Там модерн с классицизмом слились в приторную ириску. За этой улицей – еще одна. Здесь, уже на целый метр погруженный в землю, притаился желтый особняк. Его Ландышев построил для Гликерии и детей. Справа разбил сад. Вокруг и совсем недалеко раздавалась тайга, выла по ночам на все голоса так, что Гликерия просыпалась, хваталась за грудь. А сад успокаивал, обещал скорую жизнь не хуже столичной. В окно нежно постукивала хилая липа. Рябина свешивала грозди и качала их, своих детей. Ландышев нанял двух садовников, заказал оранжерею и садовые редкости.

Сад рос просторно, но от посторонних глаз скрывался забором. Деревья выросли и обняли забор, стали всем видны. Выросли и дети. Отцова защита стала не нужна им. Да и одряхлел Ландышев, его обняли заботой дети. Раздав училищу и городскому театру приличные средства, он ушел на покой и скоро в полном почете и семейном довольстве умер.

Владимир, средний сын, вел отцовские дела широко и точно. Братья его тоже пользовались всеобъемлющим уважением, хранили медали с надписью на лентах: «за полезное». Сестры, составив добротные партии, получили отличные выезды и помногу детей. Ландышевы уходили в

небытие, завещая городу в наследство роскошные библиотеки, картины, приюты - их любили за это. Последним из детей старика Ландышева скончался Владимир. Его слава превзошла прочие: Владимир осуществил красоту, в которой здесь остро нуждались.

Он превратил отцовский сад в произведение ботанического искусства, выписав француза Тома, который, хлюпя остроносими башмачками по осенней жиже, сперва изумился всему окружающему вкупе, а затем, переобувшись в крестьянские сапоги, вырастил в оранжереях ананасы. Ландышевы кушали ананасы, приглашали к обеду губернатора. А горожан, чьи страждущие души тянулись к красоте, но глаза не привыкли ее различать, почти пугали невиданные цветы и южные широколиственные деревья, которые на зиму обкладывали соломой. Владимир убрал глухой забор, открыл сад для посетителей, и Тома вел экскурсии, веселя гостей попроще убогим русским. Под старость Владимиру стало казаться, что отец Ландышев является в саду и ходит, пересчитывает деревья, любит и ругает его последним словом – зачем, мол, пустил чужих в мой сад.

\*\*\*

Даже когда Владимир поместился рядом с отцом, на их семейном участке оставалось еще много места.

Но больше никто из Ландышевых в эту землю не лег. Ее вскопали. Благородные плиты отправили на строительство, а бедные кресты разбили и увезли в неизвестном направлении. Пацаны приходили к решетке кладбища и, разинув рот, смотрели, как в ковше экскаватора кричали мертвецы, теряющие свои кости. Кости падали из ковша, тряпье тлело на воздухе. И еще было много волос. Вся земля, казалось, заросла ими. Над мертвецами поставили огромное железное колесо. Оно плавно крутилось, взбивая воздух, делая его осязаемым, жирным, как темное масло. Колесо крутилось до самой

ночи. А когда вставало на отдых, покачивало синими и красными креслами, как будто в них сидели потревоженные и тем разочарованные покойники. Если ветра не было, колесо засыпало, и вокруг него собиралась печальная тьма. Она ползла сюда со всей горы, которая трезвонила машинками, лошадами, скрипела лодочками, ревела танцплощадками. Плескалась вода в мелких бетонных бассейнах. А под защитой буйных кустов звучали влюбленные. Ревел в маленьком зоопарке лось. Он бродил над Ландышевыми, терся о лиственницу, которая тянулась к небу от изголовья Гликерии.

Танцплощадка работала каждые выходные. Девушки с исторического высматривали здесь одного знакомого. Они прозвали его Огурчиком и тайными записочками приглашали каждую неделю, приглашали, дразнясь и будто бы не всерьез. Он никогда не приходил. Анечка чуть не плакала. Но Огурчик был такой – не простой, хотя и вежливый, и, наверное, добрый. И поздно вечером Анечка запрыгивала в последний автобус. Глотая комковатую досаду, как детсадовскую дрянную манку, она ехала домой к черту на кулички, в заводской район, где на аэродроме ревели самолеты и ежеутренне свирепый гудок срывал одеяла с родителей и братьев. Они шатались по квартире, толкаясь и смеясь, дружно выходили из дома, шли по улице стайкой, сливались с другими стайкам. За километр от завода по тротуару под акациями уже текла река, без страха выплескиваясь на мостовую. Рейсовый автобус весело бибикал реке, она входила в берега, но тут же растекалась снова. Анечка отделялась от реки, перебегала мостовую, махала автобусу - и ехала в университет. Так происходило каждое утро – она отделялась, перебегала, впархивала в автобус, уезжала. Отделялась, впархивала, приближалась к другому миру, отдаляясь от своего. Иногда ей было так одиноко, хотелось пойти на завод со всеми, как раньше. Но мама смотрела на нее и целовала в макушку.

Галка и Леля поджидали Анечку, нетерпеливо стуча каблуками о бетон набережной. Они отлично устроились в новой комнате общежития и вечером звали Анечку на новоселье.

- И Огурчик будет! – смеялись они. Анечка, хоть ей и было приятно сочувствие подружек, знала, что Огурчика не будет, он как всегда не придет.

Огурчик сидел в аудитории на ряд ниже. Она видела его аккуратно стриженный затылок, воротничок рубашки. Между затылком и воротничком светилась загорелая шея еще неокрепшего рельефа, как бывает у юношей. Анечка чувствовала себя безнадежно старой, обмякшей, и даже морщинистой – недостойной прощальной нежности мужского тела, которое теперь стремится к прочности и силе. Анечке было двадцать, она знала мужчину - хотя ничего в тот раз и не поняла, только почувствовала плотное в себе и жаркое на себе... Она представила Огурчика на месте этого мужчины – и ее захлестнула горячая ослабляющая волна. Нет, он не придет.

- А-а-н-нь?.. – прошептала Леля, которую встревожил долгий Анечкин взгляд и медленное сползание под стол. Она уже месяц корила себя за то, что нечаянно обратила общее внимание на этого зализанного школьника, всегда в пиджаке, при галстуке, будто в театр собрался. «Каков огурчик!» - издевательски процедила она подружкам. Так и осталось.

День развалился таким барином. Краснели ранетки на низких яблонях, как узоры на барском халате. Студенчество побежало в столовую, что испускала волшебные ароматы через два дома от учебного корпуса, стесненного в площадях. Впереди – жеребята, прискакавшие в университет сразу после школы, замыкали старшие - производственники, отслужившие, молодые преподаватели.

Анечка краем глаза следила за Огурчиком. Он не бежал, а шел замыкающим, оживленно беседуя с

маленьким доцентом по кличке Зебра. Огурчик был необычайно умным, он все знал. При этом никуда не рвался, не лез на вид. Анечка еще раньше заметила, что Огурчик не ходит в столовую. И когда он, кивнув Зебре, свернул в ближайший переулок, припустила галопом, обежала здание - и столкнулась с предметом нос к носу. Получалось, что им в одну сторону. Анечке – до остановки.

Они шли, ее бросало то в жар, то в холод. Огурчик двигался ровно, молча, экономно. Он не предложил взять ее сумку. Покрытый солнцем, как сусальным обманым золотом, стрекотал и стучал город. Они нырнули во дворы и пошли дворами, которые вспыхнули последним румянцем перед затяжной, как обычно, зимой.

- Почему ты никогда никуда не приходишь? На танцы, например.

- Я освоюсь. – Огурчик улыбнулся оправдательно и поправил очки в тонкой металлической оправе. В таких очках любой будет похож на иностранца, на дипломата какого-нибудь, подумала Анечка.

Они двигались вдоль краснокирпичного здания, в котором затренькал вдруг звонок. Справа от входа две огромные липы несли караул в своих желтеющих шапках, как тауэрские сторожа в малахаях.

- Я здесь учился. – Огурчик остановился и стал ждать. Массивные двери открылись, и оттуда посыпалась ребятня. Вышла женщина в полосатой блузе, Огурчик помахал ей. Она помахала в ответ.

Огурчик снял очки и принялся протирать стекла.

- Ты знала, что раньше на этом месте был сад, настоящий ботанический, с оранжереями?

Анечка помотала головой.

- И куда он делся?

Огурчик задумался. Он все натирал свои стеклышки. Руки совершали механические движения, все его тело, казалось, следит за этим. А глаза жили отдельно, они словно разглядывали что-то в глубине воздуха.

Огурчик не щурился как обычно без очков, а будто бы все видел. А что видел?

- Что ты там видишь? – Анечка заглядывала ему в лицо, переводила взгляд на школьный двор. Но видела лишь качели и бревно, на которое влезли две девчонки и мелко прыгали по нему как темно-коричневые воробьи. Парнишки пинали мяч.

- Так куда он делся, твой сад?

Огурчик вздрогнул.

- Сгорел. В пожаре. Две липы остались. Жалко.

- А ты его видел?

- На старых фотографиях.

- А почему тогда – жалко?

Анечке подумалось, что ей ни капли не было жалко, хоть бы она и видела этот сад по-настоящему. Подумаешь! Ведь построили школу, детям хорошо. Школа полезней, чем сад. Подумаешь деревья. Еще вырастут. Скоро сады будут везде, даже на Марсе. Она вдруг представила себе картину из недалекого будущего: они с Огурчиком (он в черном парадном костюме, она в коротком платье и в белой газовой фате с цветочками) машут остающимся на Земле, а сами улетают в свадебное космическое путешествие...

\*\*\*

Когда спустя годы Анечка по-настоящему выходила замуж, ей привиделся Огурчик. Она будто бы наблюдала его появление в дверях дворца бракосочетания, когда с мужем под ручку покидала это низкорослое белое строение, похожее скорее на коровник. Она чувствовала себя белой коровой. Их обсыпали зерном и монетками. И тут мелькнули знакомые очки, знакомое лицо. Анечка вздрогнула, стала перебирать взглядом гостей. Ей показалось, она видит знакомую спину, милую шею – захотелось броситься, растолкать всех... Жених, почувствовав легкое движение, ухватил ее за локоток. Она

быстро взяла себя в руки, улыбнулась и пошла дальше. За столом кафе, где гуляла свадьба, Анечка сидела как на поминках. Жених подливал ей вина и нервничал. Родители переглядывались.

В это кафе они с Огурчиком однажды зашли.

Набрякшие окна, распухшие двери и тополиная городская тоска к вечеру охвачены были новым снегом, хотя, казалось, снега больше не будет, все же апрель. День сразу не задался. Огурчика вызывали в деканат, на встречу с кем-то из горкома, и вызвали строго. Вся группа и доцент Зебра, с чьей пары его как раз и забрали, переживали, предвидя неприятности, учебный процесс не клеился. Хотя Огурчик показывал себя взрослее многих, ему все же едва стукнуло девятнадцать.

Он вернулся таким же спокойным, каким уходил. По такому-то лицу не прочитаешь ничего, что в душе творится. И Галка запричитала Анечке на ухо: «Это нехорошо, нехорошо...». Зебра спросил:

- Ну?..

- Все в порядке.

И больше ничего не сказал. И сел на место. Зебра отошел к окну, сложил руки в карманы, и так долго стоял. Внимание аудитории переключилось на доцента.

- Петрович? – осторожно обратился к нему с дальней парты тридцатилетний строитель Саня, бедовый, учившийся мало, зато друживший крепко с Галкой, так они и вовсе ждали первенца.

Зебра отлепил взгляд от окна и сказал своим скрипучим голосом:

- История еще нас догонит, - и распустил аудиторию. Аудитория еще посидела молча, озадаченная словами Зебры. А потом разошлась. Огурчика ни о чем больше не спросили. Коллективно как будто бы немного обиделись, что он не поддержал их волнения и беспокойства.



Анечка на минутку обиделась вместе со всеми и даже решила пойти в другую сторону, не догонять сегодня Огурчика. Она крутилась у зеркала, прилаживала берет, застегивала пальтишко, сердито напевала под нос. Но когда, обернувшись, увидела, что он ушел, кинулась вслед и догнала на полпути, как обычно, и рядом пошла - как обычно.

В тот день они долго бродили по улицам. Любопытство мучило ее, но Огурчик молчал. Вдруг она заметила, что в его лице словно ожил какой-то нерв, менявший общее безмятежное выражение. Он в смятении, поняла Анечка. В ней заскакали воинственные черти, зашевелилось подлое презрение. Ей хотелось отомстить ему именно сейчас, в минуту его слабости, за то, что он не томился по ней, за то, что молчал. Пошел снег.

Он сказал, кивнув на вывеску, мимо которой они проходили уже в третий раз:

- Зайдем?

Зашли, уселись за столик в пустом кафе. И долго сидели молча. Анечка тогда совсем рассердилась и решила, что раз так, то бегать за ним не собирается. Под окно к ней приходил Николай из литейного и соловьем заливался. И еще один парень на курс старше провожал ее, начинающий писатель. Поцеловал вчера возле той краснокирпичной школы.

- Мне пора. Далеко ехать.

Она решительно встала, он поплелся за ней. На улице нежным серпантинном висел снег... Он залепляет очки Огурчику. Огурчик снимает их, сует в карман. Лицо его беззащитно. Анечке кажется, что он вот-вот расплчется. Он как будто тянется к ней. Но она безжалостно обрывает серпантин, говорит «до завтра» и уходит в невидимость. Ей хочется оглянуться, но черти не дают. Ей кажется, что у него, стоящего под апрельским снегом, дрожат губы...

...И вот она сидит на своей свадьбе, может быть, на том же самом стуле, на котором сидела тогда. И чудится ей всякая ерунда. Всякая ерунда чудиться! Анечка вскочила, нацепила фату, которую сняла минутой раньше потому, что заколка царапала ей голову, и кинулась в пляс. Гости и жених довольны.

\*\*\*

- Зебру вышибли из университета через два года, он стал приходить на лекции пьяным. Галка с Сашей оканчивать не стали, родили своего младенца и уехали в Молдавию. Огурчик защитился на «отлично». Я по-прежнему ходила за ним тенью, он привык ко мне и не отличал, кажется, от своего шарфа или сумки. Или не хотел отличать. После того случая в кафе, на первый взгляд, ничего не изменилось, но я чувствовало, что изменилось абсолютно все. Было ли мне обидно? Да. Обидно и больно. Тем более, что он скоро женился и у них родились девочки-близнецы... А перед выпускным состоялся у нас с ним один разговор. Он сказал, впервые посмотрев на меня робко, как раньше, что не может быть тем, кто есть и очень сожалеет, что ему нужно держаться. Я ничего не поняла, но обняла его, поцеловала в шею – он был высок, до губ я просто не достала. И убежала. Меня захлестнула тогда обида, я понимала, что он прощается со мной. И мы, правда, больше не виделись.

Анна Николаевна подперла щеку рукой и замолчала. В учительской жужжал вентилятор, гоняя сухой воздух. Ветка липы стремилась закинуть в форточку свои цветы. Скоро дадут звонок, дети убегут домой, день заострится, пойдет на убыль, как идут на убыль старики. Как идет на убыль и сама Анна Николаевна. Ее скоро придется заменить на более молодого учителя, ничего не поделаешь...

- Но вы хотя бы знаете, как сложилась его жизнь?  
Она улыбнулась.

- Вы, не поверите. Он сошел с ума.

\*\*\*

Огурчик сошел с ума не сразу.

Его карьера задалась, и скоро он служил главным редактором областного издательства. Ему удавалось еще вести научную деятельность и читать лекции в университете. Дочери росли, жена не мешала, занималась своими делами и на глазах полнела. Сам он не менялся – красавец, эрудит, молодой еще человек. У него случались любовницы, одной из них была Анечкина подружка Леля, поступившая младшим редактором в ту же контору. Анечка вышла замуж, уехала в Москву - и Леля с удовольствием окунулась в это славное приключение. Огурчик – она звала его так и в глаза, и за глаза – мало изменился со студенческих времен. Но сейчас, заматеревший, он нравился ей куда больше. Леля смотрела, как он одевается, чтобы идти домой, как напрягается его тело, как открывается славная улыбка, обнажающая ровные зубы. Идеальный мужчина, Бельмондо отдыхает.

«Но что-то в тебе должно быть не так», - всякий раз думала Леля, провожая его домой. От этой мысли становилось неудобно. Она потуже затягивала поясок на халатике. Ему, конечно, не говорила ничего, только трепала непослушный темный вихор – он не стригся теперь так коротко, и волосы шли волнами. Потом целовала в шею, не доставая до губ.

Бывало, он оставался на ночь, редко, но бывало. И тогда он рассказывал ей истории, то ли сочиненные им самим, то ли вычитанные где-то – Леля все чаще не улавливала разницу: о каком-то саде, о людях, сгинувших в сталинских лагерях, убравшихся с глаз по доброй воле, о тех, кто остался и терпел лишения. Это были истории любви, разбитых или исполнившихся надежд.

- Тебе бы книжки писать, Огурчик. Авантюрные романы, – смеялась Леля.

- Это ж не книги, дорогая моя, это жизнь. А ее в книги не спрячешь, - посмеивался он, перебирал ее волосы. И смотрел так, что Леле хотелось спрятаться, хоть под кровать залезть. Взгляд его был пустым.

- И обо мне историю сочинишь?

- Уже... - дежурно отвечал Огурчик и обхватывал Лелю крупными руками.

Однажды он спросил, почему она называет его Огурчиком.

- Анечку помнишь? Она всегда тебя так называла.

Он, показалось Леле, будто бы сразу погас, притих. Спросил, как Анна. Но выслушав короткий Лелин ответ об Анечкином замужестве и отъезде, уточняющих вопросов не задавал. Больше они об этом не вспоминали.

Как-то в сентябре по издательству поползли слухи о том, что шеф спятил. Перед тем, в один прекрасный день, за Лелей прибежала секретарша Марина. Она была в курсе событий, к которым в первую очередь причисляла служебные романы, происходившие на всех пяти этажах издательства. Марина трясла крупными серьгами. А волосы ее, всегда гладко лежащие, будто приклеенные, теперь приподнялись от волнения, как шерсть на собачьей холке, и даже немного растрепались. Не парик, - усмехнулась Леля, а то ходили такие насмешливые слухи.

Марина доложила: Владимир Алексеевич кинул стакан в бильд-редактора, зашедшего к нему в кабинет; ну, ладно бы, пострадал только бильд-редактор -- он выпивает, и шеф мог на него сорваться; но затем была Оля, которую послал Иван Иванович из типографского цеха, и ни в чем не виноватая Оля была попросту оплевана натуральной слюною; а потом была и сама Марина -- понесла бумаги на подпись, и вот результат!

-- Документы выбросил их в окно, а меня, представляешь, выгнал!

Леля попросила Марину никому ничего не говорить. И ворвалась к Огурчику.

Марина подслушивала за дверью. Но в кабинете говорили тихо. Она услышала только: шеф плачет...

Огурчик продержался еще около года. На его выходки и срывы закрывали глаза. Закрывали бы и дальше. Но как-то утром он не пришел на работу - и больше никогда не приходил.

Леля не искала с ним встреч. Мужчина, конечно, интересный, но у нее и своих проблем достаточно. Как-то они сошлись на нейтральной территории, чтобы объясниться. Ясные глаза Огурчика словно затянулись грустной пленочкой. «Я не тот, за кого меня принимают!» - жарко сказал Огурчик и что-то забормотал в несвойственном ему беспокойном, почти суетливом духе. И Леля поняла, что - всё. Хоть он ушел из семьи и мог теперь оставаться с ней, Леля поняла - всё. Она не предложила ему переехать к ней, он и не просился. Они вместе сели в трамвай, а вышли на разных остановках, он - до моста, она - после. Больше Леля никогда его не встречала.

- Было ли ей больно с ним расставаться? Не знаю. Наверное. Он ведь был необыкновенный...

\*\*\*

Анна Николаевна виделась с Лелей. И та призналась ей. И они поплакали, каждая о своем: Леля о потерянном любовнике, Анечка - о том, что ее роман так и остался не прочитан.

- Хотела бы я быть чуть умнее или добрее тогда, в кафе. Впрочем, вряд ли это что-то изменило бы. Хотя, как знать...

Покачав головой, она надела старушечью беретку, повязала платок и взялась за пальто. Осмотрела его, отряхнула - и все так спокойно, будто бы рассказывала не о первой своей любви, а о чем-то постороннем. Хотя дела минувших дней нам разве уже не посторонние? Мы

непоправимо меняемся за ничтожный срок, а тут целая жизнь...

- Так вы уверены, что он сошел с ума? – мы двигались по коридору, похожему на трубу, без окон, впереди свет и позади – свет. Дети ушли, здесь висела мучительная тишина, которую обычно разбивала уборщица, шлепая мокрой тряпкой об пол. Но и ее не слышно. В такой тишине мне вдруг показалось, что пошел дождь.

- Все говорили. Леля говорила.

Анна Николаевна остановилась.

- И Зебра однажды сказал то же самое. Много лет спустя, когда я вернулась в город, пришлось искать работу, и я заявила в издательство, к Леле. Она стала главным редактором. Политический ветер тогда сильно переменился, все дышали этой самой свободой, надышаться не могли. В издательстве стали выпускать много чего, всякую ерунду, и я подумала, что и для меня найдется занятие – и зарплата, в университетах тогда почти перестали платить. Прихожу, а там Зебра, все такой же – маленький, живенький. И еще двое наших, ребята с курса – все стеклись в издательство, где зарабатывали свой кусок. И мы обрадовались встрече, мужики сбегали за вином, закуской – отметить. Пришла и Леля... Вот тогда-то мы с ней и встретились... Говорили обо всех наших. Вспомнили Огурчика. Ребята рассказали, что приходил однажды Владимир наш, приносил написанную им книгу. Потрясал ей и обещал этой книгой всех вывести на чистую воду, хотел, чтобы непременно напечатали. Леля спросила: «Кого – всех?». А Зебра сказал: «Да, голубых, целое сообщество. Он, оказывается, был нетрадиционной ориентации. Могли бы вы себе такое представить?». Я рот открыла. А Лелька как давай смеяться, чуть под стол не закатилась. Она потребовала эту книгу, а мужики сказали, что она в сейфе в надежном месте. И мы с ней тогда рассердившись, ушли. Поднялись в ее кабинет. В тот раз

мы и поговорили, единственный раз. Леля очень скоро умерла от рака. После нашего с ней разговора во мне словно брешь образовалась, все холодом в душе тянуло, все я мерзла. О Лелином существовании хотела вовсе забыть. И вот, теперь забыть не могу, что больше не увидела ее ни разу.

\*\*\*

На улице и вправду тренькал дождь. Мы стояли на крыльце под прозрачным козырьком, стекавшие струи образовали вокруг нас подвижную беседку.

- Вы только представьте: точно такой же дождь шел и сто лет назад, и двести лет. И люди так же прятались от него, – сказала Анна Николаевна и вдруг вышагнула из-под козырька к мокрой липе. Под липой оставалось сухое место, листва ее была густа. Она прислонилась к дереву спиной и смотрела, как дождь исполняет свою вечную работу. Пришлось перебежать и мне. Сегодня вечером уберут одну из двух старых лип, она прогнила внутри, может упасть. Как мне сказать ей об этом?

- Сегодня срубят липу. Она может упасть на детей, – язык заплетался от волнения. Но Анна Николаевна лишь погладила дерево сухонькой ручкой и легко сказала:

- Тогда прощай.

Потом запрокинула голову, некоторое время вглядывалась в листву, как будто запоминая расположение веток, листьев, их свежий цвет, влажный блеск. Открыла зонтик и медленно двинулась вдоль школьного забора по улице. И я пошла следом за ней, как на веревочке. История была еще не досказана.

- Анна Николаевна, и все же вы, правда, считаете, что он сошел с ума?

- Все так считают. Сами посудите: ушел от жены, работать устроился грузчиком – представьте только, грузчиком! По собственной воле, по желанию! Конечно, все считали, что Огурчик спятил. Да и нервный он,

говорят, стал не в меру. Правда, через него все наши доставали книги, подписные издания, Булгакова другое – были у него какие-то хитрые знакомства, не отказывал. Но этим и заканчивалось, в разговоры он не вступал. Как-то собирались университетским курсом. И его решили найти. Нашли, пригласили. Он пришел чуть позже, когда веселье было в разгаре. Поел, выпил, молча посмотрел на всех - и ушел. И его больше никто не видел. Кроме Зебры.

- Так и думала, что это еще не вся история!

- Да нет, почти уж вся. Он умер. Зебра видел его уже мертвым. Пришел к нему просить прощения - а он умер.

\*\*\*

Зебра пришел к двухэтажной деревяшке в обломанных резных кружевах, потому что чувствовал, как стареет его сердце, а вместе с ним стареет, напитывается тяжелой водой вины, и тянет на дно невыносимый более груз.

Последний раз выкрашенный синей краской, дом облупился и все прежние красочные слои стали видны. Так же видны были Зебре сейчас все слои его жизни, и один слой был, определенно, черным.

Подниматься по лестнице невыносимо, ступени высоки, как во всех старинных домах, которые в пору квартирного дефицита разбили на крошечные квартирки, раздали трудящимся – на время, пока не отстроят социалистический жилой фонд. Шестьдесят лет минуло, а квартирки не перевелись, существуют квартирки.

Зебра перебирал ногами так тяжело, что великану показался бы замедленной осенней мухой. Он не замечал дранки, обнажившейся на стенах, не видел грязного стекла, торчащих повсюду проводов. А видел добротный деревянный особнячок -- флигель большой каменной усадьбы, на которую купцы не жалели денег. Во флигеле, надо полагать, проживала прислуга или кто-то из бедных родственников.



Добравшись до нужной двери, он встал и закурил. Дверь обита старой клеенкой, из дыр торчит пакля, круглая стеклянная ручка нечеткой штамповки (скорее всего, начала восьмидесятых). И косяк кривой. Отметил про себя, и приложил палец к вогнутой кнопке звонка. А потом звонил и звонил. Взволнованный, звонил еще и еще. А потом надавил плечом на дверь.

В дальней комнате на кровати лежал Огурчик.

Квартира чисто прибрана, везде старушечье хозяйство – салфеточки, фото в рамках, старомодные шторы с кисточками. Здесь, помнил Зебра, жила старушка-мать, а после нее – сын, в одиночестве.

Зебра не подошел к Огурчику. Он остановился в ближней комнате и жадно разглядывал фотографии, наполнявшие ее.

Вот сам Огурчик, фотография из выпускного альбома, круглая, надписанная каллиграфически. Его родители в свадебных нарядах. Вот старинное семейство на даче – бледное, словно спящее изображение. Вот сад: на фоне теплицы усатый стройный человек с длинным лицом позирует, поставив на ребро лопаты ногу в грубом сапоге. Виден каменный дом в уголке фото, на заднем плане, слева от оранжереи – флигель. Загадка ушедшего времени в том, что оно невозвратимо. Только книга позволяет читателю вернуться, прочесть снова, уловить, уяснить – и поставить себя на бесприигрышное место наблюдателя. Но ты не вернешься даже и на минуту назад. Может быть, из-за того Огурчик так любил книги? Может, поэтому он, Валентин Петрович Зебринский, вечный доцент, так их любит?

Зебра несколько раз позвал лежащего, замер, прислушиваясь. Потом схватил одну из фотографий, стоявших на старом комодe, и кинулся прочь.

- Я помню, как он сказал нам эту странную фразу: история нас еще догонит. После того, как он встал у меня на пороге, я поняла ее смысл. Мне для этого потребовалось

тридцать лет. Но бесследное исчезновение – вообще байка для дураков...

Зебра встал на моем пороге и замычал. Я не сразу поняла, что он плачет. И он все рассказал, вернул меня назад. И я увидела простую картину, достойную всех фламандских кистей сразу – интерьер эпохи, внутренним своим светом освещаемый до мелочей: это наша, одна на всех, жизнь. Поколения сменяют друг друга, но ее испепеляющий ветер – один на всех. То, что было вчера, повторится завтра. Я это вы.

Оказалось, Зебра «стучал». Он был хорошим парнем, но «стучал». Тогда многие «стучали», ничего, в общем, особенного. Но Огурчика он любил, восхищался им. Как это восхищение перешло в зависть, а потом и в ненависть, передать трудно. Думаю, Зебра чувствовал себя сиротой, хотя сиротой скорее можно было назвать Огурчика, его отец рано умер, при обстоятельствах, о которых тогда предпочитали не распространяться.

К тому времени, как их отношения преобразились, Зебра знал о нем все. О его терзаниях, о том, что он не чувствует себя своим среди нас. О том, что голос истории уверяет его – победивший не всегда прав, а понятие справедливости – это подарок дьявола, настолько же бесполезный, насколько и опасный. Зебра бывал у него дома, видел вещи, которые семья смогла сохранить. Разную ерунду и фотографии, за которые и рубля никто не даст, но ценные как раз своей материальной ничтожностью. Уж кто-кто, а Зебра понимал настоящую их цену. Все, милая моя, имеет не только денежную стоимость, но и настоящую... Такая вот история.

\*\*\*

Дождь утих. Мы закрыли зонты. Анна Николаевна, легкая, как одуванчиковое семечко, летела вдоль Подгорной улицы, мимо старых деревьяшек. Наверху, на горе, омытый будто бы не дождем, а ее воспоминаниями, сверкал парк – старое кладбище, окончательно опустевшее:

лося съели, колесо увезли. Мы остановились у лестницы, размолотой временем в крупу. Анна Николаевна светло смотрела на куполок Входа-Иерусалимской. Казалось, ничто не способно смутить ей сердца, затянуть мечтательную ясность уже бесцветных старческих глаз.

Под ухом взревел автобус, увозивший кого-то восвояси. Анна Николаевна встрепенулась. Здесь, возле лестницы, наши пути расходились. Во мне по этому поводу прыгало какое-то детское беспокойство: она уйдет, и я ничего не узнаю, это же неправильно...

-- И все-таки, как вы сами считаете: он сошел с ума? -- в третий раз я спросила ее о том же и теми же словами. Что позволило мне надеяться на другой ответ? Да ничего.

Но Анна Николаевна вдруг усмехнулась:

- Девочка, не могу же я считать человека сумасшедшим только потому, что он не смог меня полюбить! Да он был самым нормальным из нас, которые и знать ничего о себе не хотели. Но только он измучился. Один потомок остался от такой семьи, жил за всех. А какой необыкновенный! Сейчас... Где-то у меня тут был подарок, от Зебры...

Она достала из сумочки записную книжку с резинкой, раздутую до невероятных размеров, извлекла из нее фотографию -- овал старого выпускного фото: красивый юноша со светлыми глазами и хорошей посадкой головы. По краешку овала надпись: Владимир Ландышев. А на обороте дисциплинированным учительским подчерком: Огурчик.